

Мария Маркова

Соломинка

Москва

«Воймега»

2012

УДК 821.161.1-1 Маркова
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
М26

Художник серии Сергей Труханов

М. Маркова
М26 Соломинка. — М.: Воймега, 2012. — 64 с.

ISBN 978-5-7640-0136-4

Книга выпущена при поддержке Алексея Коровина

© М. Маркова, текст, 2012
© С. Труханов, оформление, 2012
© «Воймега», 2012

* * *

Боль головную и холод терплю.
Друг мой, я так эту зиму люблю.
В бледном дыхании, на расстоянии,
жмурясь на солнце, зиму люблю.

Произношу её, произношу.
Зубы холодные. Губы холодные.
Сквером одним постоянно хожу.
Книги одни постоянно ношу.

...всё ли, как свечи, зимы подопечные
в облаке пара тают дотла,
всё ли стоят на ветру, просвечивая,
их ледяные тела?..

Где ещё видишь на вырост пространство,
в огненном город венце?
После полуночи ходит ли транспорт
с бедной окраины в центр?..

В стёкла троллейбуса — в зеркало точно —
люди последние смотрят, двоясь.
Их разговор — золотой и порочный.
Прикосновения чёрная связь.

Как обернуться, не обернувшись?
Как оказаться в простенке миров?
Только мелодии свет простодушный.
Только неловкость без слов.

* * *

На изломе марта, в его голубом соку,
отболит и отстанет — теряется ночь в снегу.
Ничего не помнить, стоять на сыром ветру,
ехать энным маршрутом в занюханную дыру.
Баю-бай, троллейбус, скрипучий мой коробок.
У тебя есть ключик скрипичный для нежных строк,
жестяное небо, оранжевое нутро
и одно (болящее) беленькое ребро.
Баю-бай, троллейбус, потешную жизнь мою.
Если плачется — плачу. В зеркальном живу раю.
Здесь застенчивый воздух и денег на день, на два,
уязвимые вещи, медлительные слова.

На последней выйти и долго смотреть назад.
Забери что хочешь — оставь мне тепло утрат.
Проводи до смерти, потом у меня спроси:
«Так спасти тебя в марте?..»

Отвечу: «Спаси, спаси...»

* * *

...ещё меня обнимет кто-то,
за горло детское возьмёт,
за смертную мою икоту,
за лёгкую мою работу,
за недалёт и перелёт —

как воробья в руке сожмёт.

* * *

...и в дождь идти — июнь, не отнимай, —
кружить внизу — не подобраться ближе.
Я от звезды незримой без ума,
но этой ночью я её не вижу.

Когда тепло, зачем оно — тепло?
Когда нежны ко мне, зачем мне это?
С таким-то сердцем — воздух и стекло!
В такую ночь, когда ни капли света!

* * *

Слышишь ли ты тот же шум?.. Не смолкая,
дождь идёт. Это я над глубоким сном —
над твоим — иду. Кто ты, — спроси, — такая?
Как о зёрнышке просяном.

Не было, не было, и, удивись, явилась.
Но — воробей, и жалко всегда до слёз.
Да, я хочу, чтобы время остановилось,
чтобы застенчиво кто-нибудь произнёс:

«Жили мы, жили и красоту проспали,
но проводить успеем её к реке».

Детское прозвище вслух бы моё назвали,
дали с собою бы сладостей мне в кульке.

* * *

Женечке Щербаченко

Говоришь, говоришь, и впустую,
словно вышла стоять на ветру.
Там, где молча ввели запятую,
я нечаянно слово сотру.

Было слово моим продолженьем,
шумом ливня, водой в желобке.
Я писала о девочке Жене
с красным яблоком в бледной руке.

Всех нас детство слегка опалило,
подменило, к черте подвело.
У кого — голубые чернила.
У кого — из бумаги крыло.

Это временно, это неважно.
Жизнь проходишь, как лес, полутьму.
Мой несносный ребёнок бумажный,
я кому говорю тут, кому?

* * *

Как будто я знаю, куда приведёт меня память,
пчела повивальная: плакать и медленно падать.
Терновый мой вестник, последний мой провожатый,
жестокий и звонкий, к щеке опалённой прижатый.
Как будто я знаю — июнем иду налегке —
какая из улиц спускается к самой реке.

Там всё ещё заросли, белые цветники,
ивовые заросли, дымчатые венки.
Полощут бельё, и вода забирает на дно
то ленту, то юбки воздушное полотно.

Одна наклоняется. Икры блестят от воды.
И овод гудит. И вода размывает следы.
Другая под нос напевает, свивает жгуты.
Над ней стрекоза, синева, пустота высоты.
Так просто, как всё, что вокруг происходит всегда, —
и овод гудит, и следы размывает вода.

Как будто я вижу, вот тут подглядела случайно,
как падает камень, как щепку уносит, качая.
С корзиной тяжёлой идут, поднимаясь, легки,
неясные тени, забытые старики,
совсем ещё юные, гибкие — не спугни.
Они ведь уверены, что совершенно одни.

* * *

Как рассказать — не знаю.
Не подобрать слова,
что смерть пришла — смешная,
льняная голова,
что у неё скакалка,
молочные усы
и мне её так жалко,
невыносимо жалко —
о Господи, спаси.

Она стоит в прихожей,
как стрелочка остра,
и на меня похожа,
как мать или сестра.

Она грызёт орешек
и леденец грызёт.
Из маленьких одёжек
растёт, растёт, растёт.

И вот она, большая,
глядит-глядит в упор.
Ей всё вокруг мешает,
и тень моя мешает,
и жизнь моя мешает
существовать с тех пор.

Один день

1.

День ветреный. Не медли, проходи,
произноси, смотри, фотографируй.
Два тридцать семь — часы в твоей груди —
и ржавая громадина буксира.
Ещё немного, время повернёт,
цепочка звякнет, женщина прервётся,
и ухнет в воду сероватый лёд,
и выйдет солнце.

Но женщина кричит «посторонись»,
её ребёнок катится — застыли,
и только в кадре медленная жизнь
и свет на шпиле.

2.

Я этот день едва не проспала.
Похолодало. Что ещё? Не знаю.
Наверное, обычные дела.
Ходила, ела, слушала, жила.
На две минуты стрелки подвела,
и вдруг — иная
комната и свет,
как будто в ноябре — деревья голы
и где-то там — величественно — горы,
которых нет.

3.

Немногое всегда с собой берёшь,
но и оно тебе не пригодится.
Откроешь книгу — чистая страница.
Прислушаешься — дождь.
Шумит, шумит, сливается в одно.
Потом слова — крикливые — и чайки.
Замёрзнешь и забудешь про перчатки.
Подумаешь про красное вино.

4.

Однажды летом (как ещё начать
рассказывать о сбившемся когда-то)...
Однажды летом принято скучать
и пить вино. Бутылка мелковата
для всей тоски. Оставим же тоску
и будем у воды — у самой-самой —
идти куда-то молча по песку
с закрытыми глазами.

5.

Два сорок три —
и холодно внутри.

6.

Когда уходишь — свет необычайный,
перила голубые и платок
из рук у женщины — мгновение — как чайка,
летит, летит и падает у ног.

Но это всё беззвучно, потому как
растянуто во времени опять.
И жить, и знать, и чувствовать — и мука
не чувствовать, не знать.
А я всё знаю, я теперь всё знаю.
Сфотографируй. Будет — без пяти.

Застывшая, сидящая, цветная —
и глаз не отвести.

* * *

Об ушедших вслух не говорю.
Все они оплаканы от сердца.
И под снегом неба на краю
я для них рубашечки крою,
чтобы каждый мог потом одеться.

Выйдет Вера, чистая, как свет,
и ресницы длинные поднимет.
Выйдет Рая, а за нею — дед.
Деду восемь или девять лет,
а у Раи — праздник, а не имя.

Для её небесного крыла
тот рукав из самого земного
полотна полынного, льняного
отпевает целый день игла.

Будет прах в сиянье облечён
и спасён от смерти и распада.
Станет прах одной из жёлтых пчёл
в облаке сиреневого сада.

Пусть в саду, над лугом и в лесу
пчёл моих за то, что рядом были,
держит этот воздух на весу
легче лёгких ангелов и пыли.

* * *

Всё они — коридоры, они — разговоры, они — санитарочки сонные, грохот железа, с поддона ртутный градусник, шарканье тапок, сухие огни и холодные яблоки с запахом хлеба из дома. Это вы их несли, положили их в хлебный пакет, бережливые люди. Мелочи — красноречивы. И не свет — в приоткрытую, а приоткрытая — в свет, и приходят прозрачные и непристойные.

— Чьи вы?..

— Мы ничьи, мы ручьи или птичьи теперь голоса. Притворись засыпающим, чтобы во время обхода проморгали нас, словно соринка попала в глаза...

Это сеточка, что нарисована наскоро йодом, — всё она, всё она, — приоткрытая форточка, где ничего-то не видно, а кто толковал, раздражая незнакомые чувства, и всё — о звезде, о звезде, но беззвёздная ночь поднимается над гаражами. Что за маленький город! Какой он — ни шири, ни дна, но апрельского воздуха полон и сладок настолько, что стоишь, замерзая, полночи над ним у окна, а для смерти есть бедные яблоки страха и долга.

* * *

Недавно мне случилось посетить
больницу бывшую. Вокруг неё из пыли
потягивались липы золотые,
по воздуху, задерживаясь, плыли.
Хотелось жить
и воздухом дышать.

Так иногда к нам зрение и слух
внезапно возвращаются.

Поскольку
к больному ангел ночью сел на койку,
а после обошёл и остальных,
всех выписали, а на выходных
заколотили окна. Во дворе
срубили пару лип и распилили.
На месяц обещали и — закрыли
на навсегда.

Кого теперь спасти? —
и раненый, цветущий, словно сад,
и медсестричка дивная, нагая
по коридорам эхом пробегают.
Побелка с потолка и шурх, и чирк.

Вот было эхо,
а теперь — молчит,
и страшно в пустоте перевернуться
и воспарить над самым потолком
с паническим смешком

(а вдруг вернутся
в халатах, тапках, в йодной желтизне,
и руки холодны, и рты — распухли).

Два яблока гниющих на окне,
кровати — рухлядь
с продавленными сетками, и там,
в углу,
коробки, листья, тряпки, щепки —
я вас огню блаженному предам.

Как любит смерть и обнимает крепко,
накрыв казённой лёгкой простынёй!..

...я думала, что с улицы за мной
следит из парка кто-то.

Это липа,
большое дерево, чей неохватный стан
и плечи сводит судорогой скрипа.
Она, она —
прекрасный великан.
Всё остальное смысла не имело.
Проём оконный. Битое стекло.
Патриций-день в чистой тоге белой —
светло, светло.

Всё остальное — обморок. Морока.
Древесный шум. Холодная вода.
То огненная белка, то сорока,
то эхо иногда.

Медоблако

Тоне

Чего ему над облаком не спать,
чего ему медоблако не встретить.
Прикрутят к полу тумбу и кровать.
Соседи смотрят, нежные, как дети,
вытягивая шеи, кто идёт.
И мама говорила «идиот»,
и цыкала сквозь зубы тётя Клава,
а это время всё ещё поёт,
в листве деревьев всё ещё поёт,
и радостных уносит самолёт
в лиловые и голубые травы.

— Поговори со мною, логопед,
небесная волнительная Тонья.
Я — мальчик Коля, двадцать семь два лет,
небрит и холост, насморк, недоед,
вот-вот утонет.

Поговори за ночь и немоту.
Моя прекрасна речь — не оторваться.
Изык мой детский прячется во рту —
до носа дотянусь и проведу —
айда смеяться.

Кто говорил, что облака нема?
Идёт по коридору облакиня —
такая белая — зима, зима.
Спаси его, лиши его ума
незрелого и доноси, как сына.

И видишь — там, над вами, — самолёт?
То белый спутник твой, листок тетрадный.

— ...и то ещё мне, Господи, отрадно,
что каждый день цветную карамель
она мне, чуть не плача, подаёт.

* * *

За окном, за деревом, за площадкой,
за соседним домом, за ним и ещё, ещё —
есть пространство — не спрятаться — смерти с ваткой.
Медсестра выходит. Выключатель — щёлк.

Есть река с придыханием там, где яма.
Над ключом холодным от судороги поёшь.
Открывается дверь. В халатике входит мама.
Но и этим мёртвого не проймёшь.

Как над веками пальцы плясали, кого играли,
навсегда закрыли, залезли, шипя, в карман.
Жили-были дети мы, трали-вали,
пирожок песчаный съели — один обман.

Закрывается дверь. Никого. Пробегает мышка.
Убегает в белый, присыпанный хлоркой лес.
Это воздух, воздух, любовь моя, не одышка.
Это счастье, счастье, любовь моя, не болезнь.

* * *

Всё слышу, ничего не понимаю,
за краем платья чёрного иду.
Сейчас запнусь и поцелуй поймаю
смущённый, губы тёплые найду.

Пришла следить за быстрыми смычками,
пришла за звуком, жемчугом, за тем,
как ты блестяшь прозрачными очками
и убиваешь своё время с кем.

Дышу в затылок, за руку схватиться —
переживаю нервно, невпопад.
Но дирижёра выскользнула птица
и полетела объясняться в сад.

Все объяснились жестами, глазами
разъединились и губами — вскользь.
А мы хотели — музыкой и сами.
Сердцебиением и всегда — до слёз.

А мы хотели спинами и тыльной —
ладони, и зимою — наготы.
Как спрашивали друг у друга — ты ли?
И убеждались постоянно — ты.

* * *

Открой чуть-чуть окно. Так холодно снаружи.
Так благозвучен мир. Лишь ветер и вода.
Стоишь лицом к дождю, и чист, и безоружен.
Я спрашиваю:
— Льёт?..

Ты отвечаешь:
— Да.

Который день, второй?.. За шум благодарю я,
ложусь в свою постель, как в белую листву,
голубку сна легко и бережно целую
и по реке времён в забвение плыву.

Бегут по желобку разлука и утрата,
дрожит намокший лист, в зарытых сундуках
то золото, то прах неведомого брата
с колчаном стрел в руках.

Красавица венки когда-то заплетала,
и он теперь на дне, где мертвенных сестёр
вода в себе несёт, вода собой питает
и пожирает их, как голубой костёр.

Что видим мы во сне? Кто за руки берёт нас
и в темноте ведёт по комнатам пустым?..
Я слышала лишь стук — стучали ночью в окна,
я видела лишь дым.

А это речь была, а это говорила
придонная трава, утопленница, там,
где за спиной стоит таинственная сила
и ходит юркий бес за смертным по пятам.

А это жизнь росла, сквозь слёзы проступая,
печальная моя, и просыпалась я,
как вечная весна, зелёная, слепая,
а это — жизнь моя.

Письмо

1.

Веришь ли, только думаю: написать бы —
как уже засмотрелась в окно, и там
сердцевина зимы — флёрдоранж со свадьбы,
лента памяти — по местам
деревянные гости расселись — что им
пресные снега белые пироги,
сладость небесная. Повторять не стоит,
жертва ангины — дырявые сапоги.

Между этих деревьев утром
вьётся псинка вьюнком, а за ней
смотрит хозяин, вслух повторяя сутру
о здоровье на склоне дней.

По виску пробегает одна слезинка,
вслед — другая, и снизу вверх
с подобострашьем следит и ревнует псинка,
а вокруг — лишь снег.

Снега припарки, и есть от всего пилюли
воздуха. Медсестрица — морковный нос.
Нам обещали всё, но опять надули
и довели до слёз.

2.

Только думаю: написать бы — и снова
кто-то звонит, вызывая на этот свет.
Я смеюсь и слышу: «Эй! Ничего смешного!..»
И смешного в сказанном правда нет.

Смех, прерываемый плачем, будь нам
ложью единственной — не во благо, но
ради спасения от смущения, будто
кто из нас, подглядывая в окно,
всё стремится изнанку вещей увидеть,
но лицевая — бессмертная красота —
предстает всегда в неизменном виде,
с мелкой родинкой возле рта.

Я люблю эту родинку несказанно,
потому смеюсь на слова в ответ
или — сквозь смех — «нам бы с тобою санки!»
выкрикиваю, но, прелесть моя, билет
есть в одну лишь сторону. Повторяться
мы не имеем права, и всё-таки поворот:
лететь с горы и *вот так!* бояться —
снег за шиворот и лавины сход.

3.

Только думаю: написать бы — ты же
ждёшь-пождёшь, но ласточка слов слепа,
бьётся во мне — об этом никто не пишет —
острые крылья за стенкой лба.

Иногда так трудно, дышать не можно,
говорить одышка, воздуха нет совсем.
Может быть, жестами. Или же односложно.
Шурх, шурх...

Нем
человек не от рождения. Возвещает криком:
жив я, жив — на свет появился гол.
Жизнь моя — открывайся — книга.
Аз есмь глагол.

...ты мой глагол: люблю, тороплю, сжигаю.
Преодоления оттепель, талый снег.
Я тебе руку тёплую предлагаю,
человек.

Нетерпеливый, измученный, слабый, бледный, —
разве не боль одиночества так сладка?..
В это мгновение времени дела нет мне
до условностей — вот ты, и тчк.

Руку протягиваю — безымянный, дай мне
руку. Приказываю ревновать к любой
речи, которая разглашает тайну
существительного «любовь».

* * *

Сойти с ума и вырасти над домом
воздушным шаром, голубой звездой,
запаянной на корочке картонной
стеклянным клеем, кисточкой, водой.
Корабликом тетрадным неукложим
зависнуть на секунду над судьбой,
над зеркалом дворовой мутной лужи,
над липами, над горкой, над собой,
над сахарной и невесомой ватой,
над шелухой и рыбьей чешуёй,
над Ирочкой в пальтишке тесноватом,
над маленькой отпрянувшей землёй.

Ирочка

Помню, все мы бежали к реке,
в ослепительном солнце горели,
на своём языке щебетали
и летели, летели с горы.
Птицы бедные, просто птенцы,
как один, тонкорукие дети
пролетели, почти не дыша,
а теперь — никого не найти.

А теперь никого не найти,
но из пёстрого гомона, крика
выделяется голос один —
земляника, — зовёт, — земляника.
У одышливой Ирочки есть
позвонок журавлиный, но вес —
как бежит она, ты погляди-ка,
спотыкаясь на каждом шагу,
лоб в испарине, щёки багровы,
и свистит: *не могу, не могу,*
я так быстро бежать не могу,
я потом догоню, — и — ни слова
ей в ответ.

Где ты, Ирочка, где?
Спишь ли в травах шумящего леса
или белой звездой на воде
ты сияешь, не чувствуя веса?
Или ты за прилавком своим
продаёшь целый день молодым
дым забвения, воду Коцита?
А ещё бы любви им, но нет —
этот чистый нетронутый свет
не найти в темноте дефицита.

Земляника, — шепчу, — обернись,
руки сладким испачканы соком,
грузный птенчик двора, что нам жизнь,
искупавшимся в смерти высокой.
Мы с тобой полетим, раз-два-три,
нелюбимые дети, за нами —
тополя и дома, посмотри,
список летних проказ с именами.
Нас накажут за этот полёт,
поменяться не в силах местами.
Мы с тобой от земли оторвёмся вот-вот
и совсем невесомыми станем.

Соломинка

1.

Когда ещё, от тесноты и гама
избавившись, считаешь раз-два-три —
звезда гори — и лес, и волк, и яма, —
идёшь квартал, не сомневаясь, прямо,
уже *меняется всё*.

Повтори:

дом, дом, киоск, два дерева...

Приметы

обыкновенны. В доме двадцать семь
разбиты лампочки, и ночь длинна без света,
и тесно всем.

2.

Так тесно — обними меня до смерти,
пока не прерывается поток
и бабочек испуганные черти
летят под потолок.

Ещё сверкни и выхвати из мрака
(как точен обжигающий прицел)
лицо и сигаретку. Мир, однако,
меняется, меняется. В конце
не остаётся времени заплакать,
но что-то есть — прозрачное — в лице.

3.

Но что-то есть —
словами все старались,
а ты попробуй о последнем так,
как будто жизнь постыдную украли
(а это — так).

Осталось только чистое, простое,
из детства — чабер, липовый отвар.
Здрав башку, заучиваешь, стоя,
лишвы и ветра лёгонький словарь.

4.

Меняется всё так непоправимо,
что некуда становится идти.
Тебя любили в детстве — херувима —
за яблоко твоих пяти-шести.

Потом забыли, вычерпали, съели,
не разбудили, бросили в лесу,
и стала жизнь высокая, как ели,
и стала смерть похожа на осу.

5.

...но повтори: лес, лес, река и мостик.
Шагнёшь — дрожит. Секунда — тесноту
заменят шум воды и тёплый воздух.

Соломинка сломается во рту.

* * *

Пели ангелы, птицы взлетали,
как большие цветы, надо мной.
Остальное — всего лишь детали,
дым и пепел, трубите отбой.

Остальное — из прозы, из жизни,
из того, что не стоит яйца, —
от любви к истощённой отчизне
до ушедшего в детстве отца.

Да, не стоит, и кто кого выест!
Здравствуй, родина, и не серчай.
Твои сосны сияют на вырост,
нам на вырост, на вынос, на рай.

Твоё сладкое нежное мясо —
дым и пепел — прыжок затяжной.
Оставайся, терпи, не теряйся,
возвращайся с дарами за мной.

Приноси свою мёртвую воду,
чёрный воздух — дыхания суть —
и свободу, конечно, свободу
среди прочих даров не забудь.

Осы

В августе всегда летают осы.
Залетают в кухню, в спальни сад.
Спит Елена — тоненькие косы.
Вызревает чёрный виноград.
Вызревает, светится сквозь плёнку
мир для спящих, лампочка в сто ватт.
Ветер лист несёт, как похоронку.
Умирает день, мой вторник, брат.

Я сказала: осы, не летайте
над сладчайшим сахарным песком, —
и достала беленькое платьё
с кружевами, с узким пояском.
Я сказала: не будите чадо,
сон её подобен сотне лет, —
и закрыла створки в сумрак сада,
потянула старый шпингалет.

* * *

Воды на полстакана.
На четверть жизни нет.
Без всякого обмана
пишу тебе в ответ.

Да, было дело, было.
Из сада Гесперид
сияло и манило,
но больше не горит.

По рукоять бессмертье
входило под ребро.
До сердца миллиметра
не доставало, но —

стучало, билось просто,
и вот теперь — молчок.
Горячий белый воздух
берётся за смычок.

Но музыка — удушье,
один сплошной обман —
и дудочка пастушья,
и скрипка, и орган.

Томе

1.

Что ты плачешь, сестра?

Разве можно оплакивать это:

простоватую жизнь, опалённое горькое лето,
кучню с видом на ветки сухой аскетичной рябины,
половицы поющие, быстрые всполохи света,
пищу скромную, праздники-именины?..

Вытри слёзы.

Какая над августом льётся вода!

Бочки — полные.

Что твои слёзы внезапные?

Хватит.

Мы приехали, мы прилетели с тобою сюда.

Мы сидим на продавленной старой скрипучей кровати.

Ах, каким языком ты молчишь у меня, ах, каким!

Я ни слова в ответ не способна сказать, ну и что же?

Мы с тобой помолчим и ещё, и ещё посидим.

Или жизнь позовём. Или сладкого чая предложим.

Или встанем и выйдем. Мне — девять, и пять твоих — вот.

И собака большая сидит в репях у ворот.

Бесконечное детство дворовое — пряник и кнут.

Не достанут, не схватят, за пояс себе не заткнут.

Так и выйдем вперёд осиянные, скажем «привет».

И собака бежит беспризорная радостно вслед,
дышит часто, смеётся, виляет ужасным хвостом...

...ну а взрослыми станем потом.

2.

Ну а взрослые... взрослые — мы не такие,
как хотелось нам в детстве.

День выгорел.

Праздник покинул.

Огонёк зажигалки как бабочка-адмирал,
чтобы мир под него замирал.

В темноту погружаясь, над пеплом остывшим ответь,
чья мы ветвь?..

Нам заказано плакать с рождения, помни всегда,
мы с тобой — всесоюзная кровь, мы с тобой — лебеда.
По сусекам скребли, замесили с песком пополам.
Рассадили потом доходить нас по разным углам.

И в зрачке твоём чёрном алтайская ночь до краёв.
В мех овечий ложишься — заходишь в убежище снов.
Под гундосое пение нитку неровную вьёт
смуглокожая бабушка Рая, и сердце твоё
замирает.
Скрипят валуны.
Прорастает родник.

*Тѣх*¹, — шепчу тебе, — *тѣх*.

Но подводит язык.

¹ *Тѣх* — нет (*алт.*).

3.

Вытри слёзы.

Достаточно.

Всё познаётся в тоске,

близко к телу допущенной. Вот она — слабость минуты.

В удушающем первом объятии, в резком броске

на острейшее лезвие слов. Мы уедем отсюда

с чистым сердцем. Мы вынесем повесть разлуки о том,

как легко отпускает гостей своих временный дом,

как родной — принимать не желает и водит кругами.

Дверь закроем и ключ — оборот, оборот — повернём.

Вот и некому, некому, некому

в мире ином

на рябину смотреть,

за скупыми следить облаками.

* * *

Андрею Нитченко

Нежный Андрей недужный
в городе на Неве
пишет: «Я весь воздушный —
облачком в рукаве...»

Всякая вещь в природе
с буквой накоротке.
Вот он домой приходит.
Щёки его — в муке.

День проишачил целый,
ад себе выпекал.
Спит, согревая тело
в шелесте одеял

лиственных, в невских водах
плавает, как буйёк.
Пишет Андрей: «Свобода
горла мне поперёк».

Каменная шкатулка —
город — тюрьма, озноб.
Прямо из переулка
выйдет на свет связной,

ангел, посланник стужи —
градусник на дому.
Пишет Андрей: «Не нужен
больше я никому».

Красное солнце года.
Корочка сентября.
Листья лежат у входа
в клетку календаря.

Как бы его ни звали —
пропуск в одной строке.
Вот он летит над вами.
Щёки его — в муке.

Воздуха архитектор,
облакомер пустот.
Весь он — свободный вектор,
вспышка, светодиод —

нервный, ненастоящий —
тронуть и умереть —
лёгкий кимвал звучащий,
осени этой медь.

* * *

С высоты — и с такой, что не страшно, —
полуобморок, рокот в крови, —
над рассеянным светом вчерашним
долго пели мои соловьи.
Долго пели кузнечики. Долго
выжималась из слова вода,
и осталась сухая иголка,
дар сосновый. Уже никогда
не ходить без следа от укола.
Всё любили — теперь отдаю:
поцелуй на скамейке у школы
и проточную память мою.

Эта память не плачет, не просит,
только узкую ленточку вьёт,
только белые платяца носит,
только детские песни поёт.

* * *

Кто ещё к нам сиротливо нежен?
Снег ли первый, падающий здесь?
Радость беспокойная всё реже
посещает, что же до чудес,
то, сочтя бессмысленной забаву
верить в них без скидки на года,
кто-то ждёт богатство или славу.
Чудеса же, право, ерунда.

Всё возможно вымерить линейкой
и пространство подвести к нулю.
Жизнь — бездарность, сводня, грамотейка —
я тебя, безделицу, люблю.
Ты меня за пазухой носила,
полумёртвой двигала рукой.
Ты меня ни разу не спросила,
хорошо ли мне с тобой такой.

Люд фактурный, время наживное,
краски лишка — перекрыли холст.
Что ты хочешь? Облако съестное?
Мясо с кровью на угольях звёзд?
На же, друг мой, выкуси бесслёзно.
Глина слова, речи черепки.
Этой юшке, тягостной, венозной,
лишь свернуться в полости руки
чёрной змейкой. Заводи с начала
песенку удушливой вины
и надейся. Где в тебе стучало
птичье сердце? С левой стороны?..

* * *

Ещё бы вышло что-нибудь из жизни, —
так говорилось в детстве, во дворе,
соседом сверху, дядей Гришей, или
не во дворе, на кухне. Положив
сухие руки на клеёнку, Гриша
за стопочкой о чём-то говорит,
а рядом едет на хромой собаке
Чуковского его миндальный сын,
такой невинный, что не оторваться —
и женщины целуют, и мужчины
то волосы приводят в беспорядок
на безмятежной детской голове,
то называют по-мужски приятно,
протягивая: «Будешь с нами, брат?..»

О, этот возраст! Ты ещё дошкольник,
тебя подводят к самой кромке леса,
потом толкают и бегут назад,
и ты стоишь без словаря лесного
и называешь заново траву,
кузнечика, невидимую птицу,
чудовище за спутанной листвой,
вдыхающее так, что всё трясётся
внутри, легко трясётся, невесомо,
потом сильнее, всё больше нарастая,
и вот уже грохочущее сердце
толкается, и ты бежишь назад...

Вот так и жизнь — подходишь к самой кромке,
и начинает всё в тебе дрожать
от страха или, может, от восторга,
а сделал шаг, и светлая морока,

весь этот шум, мельканье, трескотня
и тишина внезапные, и птицы —
куда-то разлетаются, и нет их
как не было, и жизнь — обыкновенна,
и ничего не вышло из неё.

Закрой глаза, полоска света, чтобы
не видно было леса за тобой,
и дивный гомон принимался нами
за разговоры ангелов в луче,
и колыханье листьев оставалось
неприкасаемой огромной книгой,
а кто услышал, кто её услышал,
тот — изменился, стал неуязвим.

На будущее

1.

О далёкой ли перспективе, о смерти если
говорить, на будущее страхи приберегая?
Есть вне пространства и времени мифа место,
воды Леты, сжатые каменистыми берегами,
точно губами речь о забвении произносилась,
но застыла в своих собеседниках, вот досада.
У языка её — незнакомая смертным сила,
жало критской пчелы, сок гесперидского сада.
Что сейчас её руки прохладные, тёмные веки,
слова едва уловимые, шелест её хитона?
Прозревая беспмятство в потерянном человеке,
чёрный аист спускается над затоном.

2.

Так, присягнув известным стихиям, по воле одной из
них — воды — оказаться без памяти, без рассудка,
пересекая на поезде очередной часовой пояс,
мать выкликая, врага высмеивая, видеть утку,
над водами Леты летящую, крыла касаться,
словно сам ты — утка, живот лоснится, набит плодами
рдестов и стрелолиста, перепонки разводят пальцы,
тьень, удивляясь, плачет над собственными следами.
Ты куда идёшь, переваливаясь с боку на бок,
дивный зверь-человек, перьями обрастая?..
Свет идёт от крыльев твоих, от лапок...
...нет, уже не идёт, растаял.

3.

Над безумным стаканы плывут, стаканы —
розы янтарные, радужки золотые, —
проводница квадратная с медленными руками,
шерстяные мумии, бронзовые святые.
Алебастровый снег кусается, псы двоятся,
по равнине несутся, безумного настигая.
То хребты изгибаются — гончие, душеядцы! —
то снега завиваются огненными кругами.
«Помани меня», — шепчет, пересыхая, словно
был источником, душит себя, ласкает
белое горло в жажде, тоске любовной,
лязгает, задыхается и стихает.

4.

«Помани меня — белый дым — отболит не скоро —
кисть сирени лишь опалила шею —
сон мой, сон мой — музыка или ссора —
звук голосов — эхо — не утешений,
смерти ищущая — растерянная, нагая,
бьётся листва — в комнату проникает
чёрная змейка Леты — перетекают
кольца её — холодно под руками —
или уже остыло в груди — остыло —
или уже ушла ты — грудь мою отворила —
сумерки проросли из окна пустые —
затхлые простыни — поцелуй ила».

5.

...звякнула ложечка, тускло сверкнула. Скоро
станция. Станция — воздух. Насквозь прохватит.
Мелкие семечки, скверные разговоры.
Бледные спутники, мёртвые сваты.
Долго ли свет сочится, душа сияет?
Долго ли берег служит ориентиром?..
Лёгкая птица, чистая птица, моя и
больше ничья, ты лети над незримым миром,
словно ни тела тебе, ни земного веса —
дали одну лишь тень или крыльев шелест,
синие гущу неба и яму леса,
облака и верес.

* * *

Всё обернулось земным. Это я в суете
жалкий язык человеческий в пропасть вложила,
чтобы в болезни и здравии речь нам служила
связью и поводом, но ничего — пустоте.

Но ничего, — говорю, — помолчим до утра.
Поздно цветы распускаются адские. Кто мы?
Если мы белые молнии, ливни и громы,
если огромны мы и друг для друга укромны,
то замолкает за окнами дождь до утра.

Трудно быть маленьким, обыкновенным, когда
можно совсем неохватным и необъяснимым.
Плакать, и так, чтобы краткая встреча приснилась,
листья шептались, небо вконец прояснилось,
нас отразила и растворила вода.

Если же мы — без остатка, кому отдавать?
Звать, избавляясь от имени, нам ли друг друга?
В пропасть вложила, и первые птицы испуга —
эти слова! —

эти слова, — я не знаю их, или же нет
им перевода. Но, имя сверкнувшее, чьё ты,
если не громopodobной огромной свободы,
если не молнии испепеляющий свет?..

* * *

Ветер — ветер.

Вырвался волосок
и пристал к губам, но в холоде не услышит,
что говорит идущий наискосок
через двор от арки, а он говорит, что вышел
молча рассматривать, как хороши везде
люди, как лица бледны, пестры их.
Это весна пришла сюда по воде
и задержалась. Щёки свои сырые
не показывай строки читающим. Мёдом одним
их кормили всю зиму — до слёз ли в конце болезни?
Это мы — продолжаем, мучаемся, садним.
Кто эти люди — *все эти люди?* — если
мать ушла на работу, Нинушка в восьмом поту
съёжилась под землёй, а Вера сидит на стуле
с валидолом во рту.

— Вера, что у тебя во рту?

— Крошки хлебные. Гули, гули,
птицы мои, к больным ногам,
к спине горбатой, к раковым облакам
докоснитесь крыльями, чтобы стала я
ой да как перо голубое — легка-легка,
а пока что-то слишком устала я.

— Вера, ты просто старая.

(Высоко река
омывает ноги босые.

Бабушка, бабушка, мы смелые, мы больные!..)

Если в мире холодно, значит апрель высок.
Вся эмаль сошла, показалась земля такая,
будто кто-то глину мял, а потом обжѐг.
Не огнѐм — руками.

Этот кто-то может с любовью своей к труду
человека наверх поднять и отмыть от сажи.

— Вера, что у тебя во рту?..

Головой помотает. Язык покажет.

* * *

Хлеб ли надвое преломить,
вслух ли что-то произнести...
Приходящим — болеть и жить.
Уходящим — всегда цвести.

Ничего не зная о том,
в гибких пальцах травы, в песке
жук ползёт в невесомый дом
над рекой, а ещё в реке
можно, к солнечному пятну
наклонившись, на самом дне
видеть рыбу, всего одну,
глубоко. Повезёт — и две.

Однодневному — жить века.
Неизвестно когда — зачем
отражаются облака
или смутный проситель, чей
неразборчив язык. Ему
всё достанется — ничего
не достанется. В полутьму —
в полусвет позовут его.

Кто вы, ангелы — луг и лес —
ноги в золоте, стриж ключиц,
насекомое сердце? Вес —
воздух, время. Прохлада лиц —
поцелуй ваш неразличим.
Кто по самым глухим местам
поведёт меня здесь и чьим
стану я отраженьем *там*?

* * *

Я хотела бы знать, называя
окружающий мир по частям,
где скрывается птица кривая
и олень саблезубый мой. Нам
предстоит чудесами заняться,
из шиповника выйти в крови
или в венчиках розовых, чтобы смеяться,
а потом сколько хочешь — живи.

А потом я проснулась бы в полночь
и к дверям подошла: вот и вы,
говорящие звери, и волны
омывающей север листвы
накрывают вас, словно хоронят —
ветер к ветру, лесной пережной.
Всех я знаю по имени, каждого, кроме
безобразной пернатой одной
и оленя (рога его — корона
в невесомом медовом цвету),
кроме птицы кривой и оленя-гурона
с оперённой стрелой в разорванном рту.

Приходите ко мне, дорогие,
прилетайте ко мне в темноте,
нехорошие, грубые, злые — другие —
не такие, как эти и те.
Приходите в шипах и в заплатках
из железных цветных лепестков,
приходите знакомиться снова — обратно —
в наш кустарник, пчелиный альков.

Мустанги

1.

«Неказисты лошадки твои, — смеялся дядька, —
низкорослы они, некрасивы, а пишут... так то слова».
На последней странице — смотрю украдкой —
мёртвая лошадиная голова.

Сквозь глазницы времени — внятный ужас:
как засмеют отечески из любви,
как в лихорадке спящую обнаружат —
крупные слёзы, губа кровит.

2.

Площадка и лошадь — седые бока.
По кругу за столярник
катают детей дотемна у ДК.
Довольны все. Только
в попоне сама лошадиная смерть,
животная старость.
О счастье не плакать и думать не сметь
«о, сколько осталось».
Осталось на семечки — птицам в пыли.
В пыли и останки.
Когда-то читали, забыть не могли:
мустанги, мустанги.

* * *

Что же так пылает и жжёт,
что названья нет.
Слов на ветер пустой перевод,
бесполезный свет.

Огненной воды не дыша,
Флегетона белого лишь глоток.
Не болит у того, у кого душа —
с ногтей.

* * *

Ученица времени, кружевные манжеты,
выше колена — возраст, вишнёвый цвет —
юбка. Но выгорают легко за лето
лица, не остаётся от них примет.
Смазанные, тускнеющие, пустые,
иноязычные — их шепелявы рты —
гости в моей голове вспыхнули и остыли,
серыми мотыльками падают у воды.
Не удержать, и произнося по буквам,
и выводя на прогулку их по листу.
Я отпускаю тёплую чью-то руку,
я выпускаю, — мертвею или расту —
не понять, но, во времени извернувшись,
извернувшись взглянуть и запомнить, запечатлеть
тлеющий контур тела, тела цветок сверкнувший,
вижу яснее, чем раньше увидеть могла бы, ведь
с каждым взглядом нам открывается больше.
Но и уходит (а это — ещё ясней).
Запоминаю румянца пятно и дрожи
польку нечёткую, выдох — ещё длинней,
дольше, мучительней, а остаётся яма,
чёрный провал, пугающее окно.
Но и над этим всем говори мне прямо,
показывай мне мечтательное кино.

В кадре трава как серая пряжа. Стража —
стальные сосны, строгие — свысока.
Высмеет эхо, и папоротник накажет,
холодом сизым больно хлестнёт река.
Сверху — небо, снизу — земля, а между —
влажный и нежный гул, аккуратный срез
света, и ходят ангелы без одежды,

окунаясь то в воду, то в синий лес.
Так глубоко проснуться, что вынырнуть не удаётся.
Задохнуться от памятного «ау».
Сквозь шевеление веток змеиных — солнце.
Я уходящих протяжно весь день зову.
Губы немеют, дождь начинает быстро
покалывать, и темнеет вода, пьяня.
Но чёрный огонь пробегает над миром — искра —
и отнимает последнее у меня.

* * *

Пчела Паганини не жалит, не умирает.
О, кто с тобой, милая, в игры в потёмках играет?
О, кто тебя трогает, слушает, душит, целует?
О, кто твои пальчики тонкие любит, балует?

Никто со мной в игры в потёмках давно не играет,
но скрипка приходит и жертву себе выбирает,
меж лаком и древом, меж воздухом и мастерством —
родство и уродство, безумие и воровство.

Я выкрала б сахар, один его белый кусок.
Я встала бы в угол за детскую шалость такую.
Вот так меня мучает хриплый её голосок,
и боль — или слабость — легко заполняет лакуны.
Я всех бы жуков своих, бабочек ломких, стрекоз,
цветов разноцветные головы без колебаний —
и порвана нитка невидимых радужных слёз —
отдать бы могла, но ведь ей не угодна любая —
от сердца — ревнивая жертва, не надо ей слёз,
а только за пальчик кусать и вытягивать душу.
Меж лаком и древом — железный строки купорос —
чернильные розы из пены выходят на сушу.

...и что, если в этот момент прерывается звук?
Она существует, и все её жертвы блаженны.
Над съеденным сахаром розы смыкаются в круг,
и мёртвый посланник — жучок — превращается в пену,
и бабочка — в пену, и казни цветочной часы
ещё за стеклом протекают, но пена им имя,
пока, прикрываясь прозрачным крылом стрекозы,
она неподвижно следит за губами моими.

* * *

Не умирай, говорю я и отвергаю
время, и пусть стоят за большим костром
бледный ноябрь предзимний и жизнь другая —
точно внезапная боль или первый гром.

Боль или гром, просыпаясь в пустой квартире
ночью, испытывать — красный рассвет стыда,
словно зачем-то прошлое обратили
вспять, но теперь не будет нас никогда.

Но обернись, последнее и живое,
радость моя, поющая высоко:
я возвращаюсь, смертная, за тобою,
точно вступаю в чёрное молоко

Стикса, я возвращаюсь, и воздух — чуток,
окна открыты и двери, столы — чисты.
Чудо — скажи мне! — или так жду я чуда,
но — появляешься в комнате светлой ты.

* * *

Дай мне руку, пойдём по родным и близким.
К дому-свету, прилежные — тишь да гладь.
Там стрижи проносятся низко-низко
и свистят: попробуй-ка нас поймать.

А на той стороне, за рекой глубокой,
сквозняки гуляют, глаза чисты.
А на той стороне, поросли осокой,
погребальные ямы пустым-пусты.

Что ты видишь? Ни дома, увы, ни лета.
Износились платья, исчезла плоть,
и зелёной иглой дневного света
сердце не уколоть.

* * *

...потому что я вижу в прихожей
безмятежных людей молодых,
потому что я вижу их тоже,
но — седых.

Эй, вы, призраки смеха и спора,
развесёлой ночной коляды!
Вся-то кровь — самогон разговора
или лёгкая пена воды.
Вся-то жизнь — под пластинку с повтором,
под предчувствие скорой беды.

Под пластинку с заскоком, заедом,
под кривлянье наивных подруг,
но невиданным ранее светом
всё охвачено было вокруг.
Как мы живы — вы пели и пили,
как мы молоды — шли провожать,
но того, что так жадно любили, —
никому не дано удержать.

Время вышло, и дёрнулась стрелка.
Колыхнулось спокойно в груди.
Это — боль, но беззубо и мелко,
потому что она — впереди.

О покинувшей меня музыке

...о горе. Это — ты?.. Не узнаю я —
так много слёз — теперь твои черты.
Не помню рук, не помню поцелуя,
не помню чистой хрупкой наготы.
Как будто снег спускается на веки,
а может, вербой я одна стою,
и есть лишь память дерева о снеге
и обморок у леса на краю.

...о горе — если это всё же горе —
о нём, о милом, ласковом, о нём —
о разговоре, о его повторе
язвительном — гори оно огнём.
Бесхитростная, как ты преуспела!
Бесчувственная, как ты обожгла!
Но это — сердце, это — голос, тело.
А ты — *неощутимая* была,
и я тебя несла — неощутимо,
и я тебя обнять — не обняла,
но уловила горький запах дыма.
Нет дыма без тепла!
Не выговорить — повторять руками
глухонемое — прямо надо мной
ты — облачко с прозрачными боками,
ужаленное неба кривизной.
Сквозь линзу неба вижу высоко я,
как, удаляясь, ты растёшь, и вот —
теперь ты горе чистое такое,
теперь ты снега тихого исход.

...о горе — если это с нами было,
наказывая за неловкий дар —
всё исказить: и ты меня забыла —
не избежать беспамятства, когда
ты так звучала! — плакать, содрогнувшись,
бежать по травам, не угомонить
сердцебиенье страха, и удушья
впивается накинутая нить.
Над куропаткой — пламенем — лисица.
Крыло в крови, и перья не легли,
ещё летят, и мне — остановиться,
что отдалиться разом от земли.
Так умереть! — дорогу потеряла,
и выскользнула лента из волос.
Так умереть! — на воздухе стояла
и думала, что всё теперь сбылось.
Так умереть! — и мир вокруг кружится.
Ещё бы выше! — бледная стою.
Ты узнаёшь меня, моя лисица?
Ты принимаешь жертвенность мою?..

Содержание

«Боль головную и холод терплю...»	3
«На изломе марта, в его голубом соку...»	4
«...ещё меня обнимет кто-то...»	5
«...и в дождь идти — июнь, не отнимай...»	6
«Слышишь ли ты тот же шум?..»	7
«Говоришь, говоришь, и впусую...»	8
«Как будто я знаю, куда приведёт меня память...»	9
«Как рассказать — не знаю...»	10
Один день	11
«Об ушедших вслух не говорю...»	14
«Всё они — коридоры, они — разговоры...»	15
«Недавно мне случилось посетить...»	16
Медоблако	18
«За окном, за деревом, за площадкой...»	20
«Всё слышу, ничего не понимаю...»	21
«Открой чуть-чуть окно...»	22
Письмо	24
«Сойти с ума и вырасти над домом...»	27
Ирочка	28
Соломинка	30
«Пели ангелы, птицы взлетали...»	32
Осы	33
«Воды на полстакана...»	34
Томе	35
«Нежный Андрей недужный...»	38
«С высоты — и с такой, что не страшно...»	40
«Кто ещё к нам сиротливо нежен?..»	41
«Ещё бы вышло что-нибудь из жизни...»	42
На будущее	44
«Всё обернулось земным...»	47
«Ветер — ветер...»	48
«Хлеб ли надвое преломить...»	50
«Я хотела бы знать, называя...»	41
Мустанги	52

«Что же так пылает и жжёт...»	53
«Ученица времени, кружевные манжеты...»	54
«Пчела Паганини не жалит, не умирает...»	56
«Не умирай, говорю я и отвергаю...»	57
«Дай мне руку, пойдём по родным и близким...»	58
«...потому что я вижу в прихожей...»	59
О покинувшей меня музыке	60

Мария Маркова. Соломинка.

редактор, составитель:

А. Переверзин

вёрстка:

О. Ботина

корректор, технический редактор:

О. Тузова

В оформлении обложки использован рисунок Улиссе Альдрованди (1522—1605)
Автор фото на четвёртой странице обложки — Антон Чёрный

издательство **«Воймега»**

voymega@yandex.ru

alkonost.mail@gmail.com

Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Формат 60х90 ¹/₁₆

Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии «Момент»